

Анатолий
СОРОКИН

КНИГА ТРЕТЬЯ

ГОЛУБАЯ

ОРДА

СЛЕД
ВОЛКА



Голубая орда

Анатолий Сорокин

След волка

«ИП Стрельбицкий»

Сорокин А.

След волка / А. Сорокин — «ИП Стрельбицкий»,
— (Голубая орда)

Словно грозная лава, вырвавшаяся из жерла вулкана, катится по степи несметная сила степного гнева, опалая северные провинции Поднебесной. Бывший воин без роду и племени признается вождем. Льется кровь, дети теряют родителей, бредут по пескам и степным пространствам толпы рабов и невольников... Чего лишил ты эти толпы, тутун Гудулу, и что дашь взамен? Как создавать всякое новое без насилия и жестокости?... И настораживающий голос писателя: «Настоящая история наших предков и канувшие в Лету времена, обнажаемые исследователями, иногда напоминать не очень опрятную женщину, вдруг выставляемую напоказ во всем своем старомодном облики. И многим не хочется видеть ее такой неприглядной, уродливой, безобразной. Особенно – близким по крови ощущаемого родства.....Первосвященник выполнил приказание Бога и пошли вавилонские люди по свету, образуя отдельные народы и нации со своими обычаями и нравами. Башня-Столп, Башня – Бессмысленный Символ, оказавшись ненужной, от времени сама по себе начала разрушаться. А люди, скоро позабыв о неотвратимости божьей кары и возмездия за грехи, опять утратили духовную связь с Творцом. Породив убогих идолов своей новой веры, устрашаются только одним - Судным днем, гневом Небес. И с тех пор в мало что изменилось...

© Сорокин А.
© ИП Стрельбицкий

Содержание

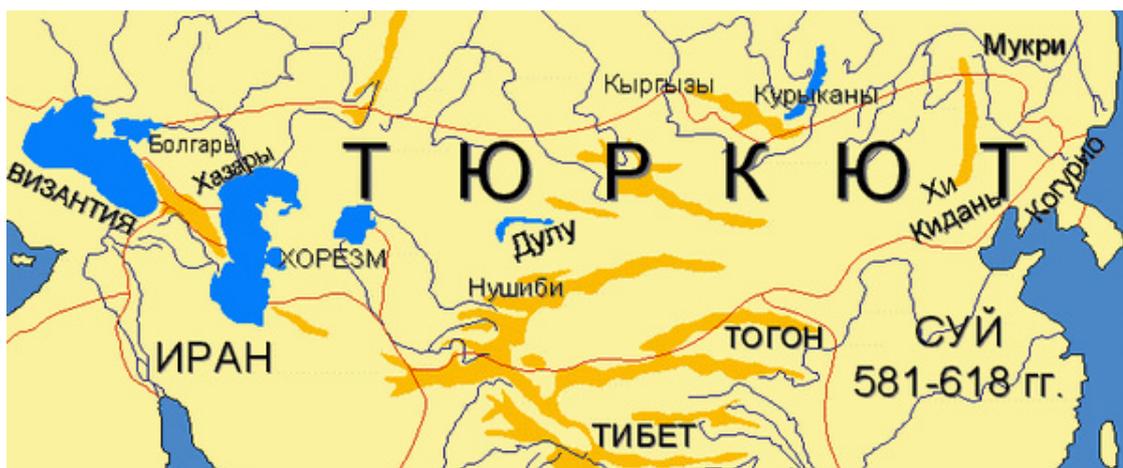
БАВИЛОНСКОЕ СКОПИЩЕ	7
Глава первая	8
ЧТО РОЖДАЕТ ДОСАДА	8
РАСПЯТЫЕ ЦЕПЯМИ	15
НАЕДИНЕ С ВЫСШИМ ГУРУ	25
ХОЛОД АЛЬКОВА И МЕРТВЫЕ РЫЖИЕ ВОЛОСЫ	34
Конец ознакомительного фрагмента.	36

Анатолий Сорокин След волка

Настоящая история наших предков и давние, канувшие в Лету времена, обнажаемые исследователями, иногда начинают напоминать не очень опрятную женщину, вдруг выставленную напоказ во всем своем непрезентабельном старомодном облике. И многим не хочется видеть ее такой неприглядной, уродливой, безобразной. Особенно – близким по крови ощущаемого родства...

Всю и во всем нашу историю, какой бы она ни была на самом деле, полюбить невозможно. И осуждать – занятие более чем бессмысленное, потому что это ИСТОРИЯ. Как не стоит ее выворачивать и переделывать исходя из самых благих намерений, потому что всё «мудро-тайное» и надуманное в подобных потугах неизбежно когда-нибудь становится явным. Любое изящно и хитроумно перелицованное прошлое все равно может однажды беспощадно ударить копытом того, кто коварно сотворяет над ним насилие и чья мораль – прежде всего привлекательность, так называемое национальное самовеличие, а потом уже истина.

(Из дневников скучного философа)



Народы Древней Сибири

БАВИЛОНСКОЕ СКОПИЩЕ

И увидел Вершитель судеб, грустным взглядом окинув устремившуюся в ЕГО НЕБО Вавилонскую башню, сколько нечестивости вокруг странного сооружения, бесполезного человеку. И спросил своего Первосвященника царя Сущей Правды и царя Салимского Мелхиседека:

– Зачем они упорно стремятся на Небо, Мелхиседек?

– Ты, не знаешь, Творец? – удивился богов Священник.

– Гордыня! Снова гордыня! Я давал им вечную жизнь и вечный рай, положив печать запрета для их же блага совсем не на многое... В последний момент благословил Ноя построить Ковчег Спасения и взять в него по паре всякой живности. И скоро ты принес мне благостное известие, что род людской возродился и, наконец, прозрел. Но в чем он прозрел, Мелхиседек? В желании встать вровень с Богом?

– Творец! Они молились истово тридцать три дня и тридцать три ночи!

– Всего тридцать три дня? И снова возжелали и взалкали, позабыв о грехе и неизбежном возмездии?

– И столько же бессонных ночей.

– Кому и ради чего, отринув и страх и клятвы?

– Они – твои дети. Не будь к ним жесток.

– Они – мои дети. И я должен быть с ними строг.

– Дав брэнному телу разум и душу, ты не можешь заставить их жить только праведно, ибо душа человеческая всегда будет искать и страдать, а разум – мечтать и жаждать. Разум – главная смута в сотворенных тобою двуногих тварях.

– В одномерной их общности я вижу много и вражды, и злобы, и прелюбодейства. Им вредно сбиваться в толпы. Пойди, разрушь их единый язык. Посмотрим, что выйдет из этого.

Первосвященник выполнил приказание Бога, и обций недавно язык исчез. И пошли вавилонские люди по свету, образуя отдельные народы и нации со своими обычаями и нравами. Башня-Столп, оказавшись ненужной, от времени сама по себе начала разрушаться. А люди, скоро забыв о неотвратимости божьей кары и возмездия за грехи, как ни в чем не бывало опять стали забывать своего Творца. Наблюдая вокруг много дивного, принялись поклоняться солнцу, луне, звездам, почитать огонь и разных животных. Создавали их изображения, приносили им жертвы, возводили в их честь убогие капища и величественные храмы. И, породив убогих идолов своей новой веры, сделались язычниками, устрашающими друг друга только одним – Судным днем и гневом Небес.

Человеческую душу поражают не грехи, ее убивает СМУТА зависти и стяжательства, от которых избавления почти не бывает.

И с тех пор, по сути, мало что изменилось...

Глава первая В КИТАЕ

ЧТО РОЖДАЕТ ДОСАДА

Обещанный утром выход императрицы снова непредсказуемо задерживался. Вельможи, сановники, генералы, собравшиеся на совет, тревожно перешептывались и нервничали. Всех и замелькавшего в просторной приемной монаха Сянь Мыня, конечно же, в первую очередь интересовало главное – положение в Шаньси. Где тюрки и где армия генерала Кхянь-пиня? Но те, кто должен был знать ответ, – и военный министр, и шаньюй-управитель соответствующего правительственного крыла, объединяющего несколько палат, и сам Государственный секретарь, подобно монаху на этот час, похоже, мало что знали. Утомившись ожиданием и попытавшись незаметно покинуть высокое собрание, Сянь Мынь неожиданно столкнулся с новым управителем дел князем Ван Вэем и почему-то вновь ощутил неприятное оцепенение.

Заглядывая монашествующему царедворцу в глаза и не особенно стараясь быть понятным с первых слов, кругленький и коротконогий вельможа с разопретым лицом, по всему, поджидавший Сянь Мыня преднамеренно и долго, откровенно заискивая, говорил:

– Я проверил, Сянь Мынь, только в Палате чинов на самых высоких должностях сидело три тюрка! Зачем они нам, скрытно сеять вражду? Взятый в колодки столоначальник Ючжень Ашидэ показал о влиянии на него Тан-Уйгу. Есть другие важные признания, Сянь Мынь. Став достоянием недоброжелателей, они способны смутить Великую Непревзойденную. Не зная, как поступить, я искал с тобой встречи, но ты избегаешь меня.

– Князь боится пустых разговоров? – едко усмехнулся монах.

– Как не бояться, Сянь Мынь, и пустое имеет меру! Я не все понимаю, что надлежит совершать в первую очередь, а чего вообще не касаться. Я никогда прежде не жил при высоком дворе. У меня в голове... И хочу и боюсь! – взволнованно говорил князь, взмокший от чрезмерного возбуждения.

Они были одинаковы ростом. Оскобленная до синевы, в синих извивах вздувшихся вен его маленькая головка рядом с крупной и тяжеловесной головой Сянь Мыня казалась несерьезной и словно бы детской. Тоненькая кожа на ней постоянно морщилась сама по себе и расправлялась. Вызывая неприязнь, шевелились длинные острые уши. Узенькие и юркие глаза князя из-под массивно нависшего подлбья, загнувшегося вверх густыми бровями, назойливо шарили по лицу Сянь Мыня, что-то упрямо искали. Он, беспрестанно размахивающий руками, до безобразия неряшливый в одеждах, которые вынуждены были постоянно поправлять, приводить в соответствие с этикетом двора и просто ради приличия, всюду следующие за ним слуги – они и сейчас поспешали за князем в благопристойном отдалении, – вызывали брезгливость и отчуждение. «Лучше бы тебе, излишне усердному, вообще ничего не понимать», – подумал с досадой Сянь Мынь.

В прежней дворцовой жизни князь не был замечен, скорее, он ее сторонился, ни наград, ни особенных привилегий согласно сану никогда не искал. Самовластно назначив князя на должность, будто над кем-то посмеявшись в свое удовольствие, императрица нисколько к нему не благоволила, не терпела присутствия на важных заседаниях совета и дворцовых приемах. Об этом Ван Вэй не мог не знать и не мог не опасаться возможных печальных последствий подобного императорского каприза. Тем не менее, князь не был глуп и бездеятелен. Добравшись до власти по царственной прихоти, он, конечно же, старался ее удержать. Его

противодействие присутствию во дворце тюркской знати было весьма заметным, и в этом Сянь Мынь оказывал иногда покровительство и поддержку. Но тюрк Тан-Уйгу оставался самой острой болью Сянь Мыня, самым уязвимым из всего, совершенного вокруг наследника, и поэтому монах не мог не вздрогнуть, услышав имя бывшего наставника принца.

Помимо собственной воли в душу монаха вливалась волна нового неприятного холода.

– Ван Вэй говорит о сыне старейшины Ашидэ-ашины? – спросил Сянь Мынь, как бы чего-то недопонимая.

Он подавал князю скрытый сигнал тревоги, но князь увлекся, не в меру жестикулируя руками, говорил нервно и шумливо, поспешным рассказом о совершенных деяниях против чаньаньских тюрков, невольно производя впечатление обратное тому, какое хотел произвести, о чем и сам без труда догадывался и чем заметно смущался.

Нет, неуклюжий, расхристанный князь был вовсе не глуп, он был слишком прост и безыскусен поведением в новой среде. Он слишком долго искал этой встречи и, зная о влиянии монаха при дворе, должен был полностью высказаться. Люди подобного сочетания умственного склада и жизненного опыта опасны не излишней услужливостью и чрезмерным усердием, а этой вот неосмотрительной простотой и подчас неуместной искренностью, что князь в поте лица навязчиво проявлял. Не сомневаясь, что за ним внимательно наблюдают, Сянь Мынь должен был отстраниться от Ван Вэя, сделать вид, что князь мало ему интересен и что тревоги Ван Вэя не вызывают в нем ответного беспокойства, но не мог этого сделать. Кто знает, что еще может выкинуть князь? Сянь Мынь слушал его, морща толстокожий лоб и багровея страшным шрамом через всю голову. Слушал, лихорадочно соображая, как рассеять создающееся впечатление о деловой близости с князем-управителем, смягчить глупые подозрения о тюрках-врагах при дворе, о которых князь беспардонно громко вещает.

– Я только что из подземелья, Сянь Мынь. Сейчас дают показания о тайном сговоре между собой и наследником несколько других не менее знатных тюрков, – торопясь, говорил управитель, не в силах остановиться, – и все признают влияние на них наставника нашего наследника. А еще говорят о монахе Бинь Бяо, также способном поддаться дикому волку Степи.

«Так вот с Бинь Бяо и начни! – мысленно обращался монах к Ван Вэю. – С Бинь Бяо, дурак, начинай, не с тюркского княжича, который в подобных делах сосунок и теленок. Куда ты суешь свой бесчувственный нос?»

Но сказать такое глупцу – на глазах у двора и высших вельмож признаться в собственных ошибках в выборе воспитателя будущему наследнику императора. Но стоит ли, хотя, конечно, вина есть. Он просто не все предусмотрел, как следует, не довел до логического завершения. Но он еще в силе! Иначе бы их беседе так сейчас не внимали с раззявленными ртами. И У-хоу, слава Небу, при власти! В поединке с судьбой он еще не сказал последнего слова!

Осторожность мыслей и высказываемых вслух рассуждений при ощущении опасности не всегда проявляется достаточной мудростью в действиях. Давно изучив тайные пружины различных противостояний, дворцовых интриг и заговоров, Сянь Мынь не мог не уяснить, что в борьбе за власть двух победителей одновременно, если не заключен расчетливый сговор между самими соперниками, просто не бывает. Открытие зиждилось не на богословских учениях о власти и праве на власть, а на мирском опыте и представлениях, которые он познавал и усвоил в совершенстве. Обычная дворцовая власть никогда не была ему чуждой хотя бы уже потому, что всяким переустройством и преобразованием не могла не затрагивать его веру в Просветление и не решать судьбу этой веры и в Поднебесной, и в Степи. Да, он давно перестал быть просто монахом, приставленным к императорскому гарему, к влиятельнейшей из наложниц. Он стоял рядом с правительницей, вылепив, сделав ее за долгие годы усилий такой, какой она стала, и должен вести ее дальше. Так ему выпало. Встав над

коварным, но во многом слабым созданием, подчинив своей духовной воле, тем самым он поднялся и над единоверцами, поэтому должен думать не о сути глубинных устоев монашеских общин и монастырей, а о сути наивысшей Божественности, призванной вразумлять и высоких управителей и повелительницу. Его предназначение и судьба – не с богами беседовать, укрепляя в себе Святость и Просветление, не с зашоренными мистиками, вознесшихся на гребень власти случаем не без его усилий, а с повелительницей, укрепляя в ней Дух Высшей Силы, Дух Великого Будды-Гуру.

Князь-управитель казался настолько взволнованным и распалившимся, что его горячий шепот обжигал монаха.

– Князь, – издали начал Сянь Мынь, – если встречи двух-трех тюрок, их уединенные беседы о собственной судьбе считать началом заговора, можно стронуться в разуме. Вот и мы с тобой как бы шепчемся, а за нами, смотри, наблюдают. – Доверительность, которую неумело проявлял новый императорский управленец, ранее не занимавший высоких государственных должностей, раздражала, монах изредка тер пухлой рукой пылающий шрам и морщился. Но более всего раздражало, что князь провел дознание, не согласованное с ним, а теперь пугается, что узнал. Отринув приличия сана, Сянь Мынь сказал грубо и резко: – Действия каждого знатного тюрка Чаньани мне достоверно известны. Разве кто-то из тех, кого ты бросил в зиндан, готовился перекинуться в Степь к тутуну? Но ты и подобные торопыги такое способны ускорить.

– Тюрки – наши враги! Чаньянь ими кишит! – взмокая под жестким взглядом первого советника императрицы, задыхался от волнения встрепанный князь.

– Тюрки Чаньяни – сторонники Поднебесной в большей мере, чем иные наши генералы. Сейчас время ослабить узду некоторым инородцам, – сдерживая гнев, наставительно поучал монах, в невольном сомнении, как бы бестолковый князь вдруг не сменил прежнего отношения к злосчастным инородцам, томящимся в подземелье, будто бы ранее ненужными и вдруг ставшим предметом острой необходимости.

– Сянь Мынь, опасно шутить с огнем! – не понимая осторожной игры монаха, продолжал возражать князь.

– Князь, на то и разводят жаркий огонь, чтобы взять больше тепла, а потом вовремя укрошают, когда он грозит стать пожаром! Ищи заговорщиков среди вельмож, генералов, принцев крови. Среди юных принцесс, наконец, не выданных замуж. Здесь кубло всяких свар, тюрок на время оставим в покое. – Мягкие, вроде бы успокоительные слова, которые пытался вытолкнуть из себя главный блюститель веры, не вязались с его внутренним напряжением, поиском выхода, средства, способного устранить возникшую опасность, и он вдруг вернулся к началу беседы: – А этот княжеский отпрыск?..

– Ючжень Ашидэ? Сын князя-старейшины Ашидэ-ашины – ты о нем? Но к нему в последние дни зачастил евнух Абус и взял допрос на себя. Меня отстранил. Сянь Мынь, какое дело ему до тюркского князя? – воскликнул Ван Вэй, смахивая со лба липкий пот.

«Абус? Кто поручил?» – Опасность становилась осязаемой. Необходимо было что-то предпринять. И немедленно.

Сохраняя выдержку, монах с показным равнодушием произнес:

– Однажды князь пригодится. Может быть, самой У-хоу. Не переусердствуй, и намекни об этом Абусу. А впрочем... – Он хотел в привычной для себя и резкой манере произнести, что сам сейчас пойдет в подземелье и расставит все на нужные места, и не решился. Тело его словно бы стиснули странными клещами, которыми пытаются строптивых узников, и он только фыркнул в досаде – Палач-дознатель! Ну, времена!

– Сянь Мынь, я что-то сделал не так? Что я сделал не так?

Заискивающие откровения и явная обеспокоенность управителя были опасны уже тем, что прямо и недвусмысленно называли в числе заговорщиков Тан-Уйгу, приставленного к

юному наследнику им, Сянь Мынем, и все более раздражали монаха. Кто сейчас в подземелье дает показания? Какие и на кого? Подвешенный с вывороченными руками на цепях может сказать что угодно.

«Как же ты глуп в своем усердии!» – одолеваемый досадой, поглядывая на князя исподлобья, хотел бы воскликнуть монах, но пересилил себя и, напустив равнодушие, произнес:

– Тех больше нет, кто были самыми непримиримыми среди наших высокородных и генералов. Этим тюркам... Ты прав, зачем они нам, прикажи отрубить поскорее им головы, больше не мучай. Изменника Тан-Уйгу я достану сам. Расскажи лучше об известиях из Шаньси, я слышал, там что-то случилось.

Добившись огромной власти, научившись ее удерживать, Сянь Мынь оставался всегда осторожным и холодным по отношению к ней. Он отчетливо сознавал, кому и за что обязан этой властью, замешенной на молчаливом долговременном сговоре с той, кого ловко возвел на трон, из обычной рабыни-наложницы одного властелина сотворив повелительницу другого.

Он всегда жил тревогой и понимал опасность, условность этого расчетливого содружества и его неудобства.

Надежные, внешне похожие на кованые цепи, подобные сговоры остаются, по сути, непрочными, утяжеляя вечную тревогу. Лишь молодой тюрк, наставник принца, в последнее время, обнадеживал монаха некоторыми надеждами и вселял уверенность в будущем проверенным помощнике. Все прошлое, включая Тайцзуна, глухой тибетский монастырь с таинствами, обрядами, совершенствованием тела и духа, магическими и прочими, далекими от настоящей духовности, экзальтациями, давно угасло в Сянь Мыне, утратив первооснову высокой цели. Молодой гвардейский офицер, жаждущий громких побед, которого он заметил однажды на ристалище боевых единоборств, стал его слабостью и как бы внебрачным сыном самого Просветления.

Заметив большую силу в нем, скрытые желания, познания и ум, которыми владел Тан-Уйгу, он пригрел юношу не без умысла, отправил на суровое обучение в горный монастырь, возвысил по возвращении, добившись высокого военного чина, и никогда не сомневался в преданности.

Он позволял ему значительно больше, чем другим послушникам, будучи убежденным в блестящих способностях приблизиться к будущему императору. Умело подогревал его честолюбие, надеясь тонко использовать впоследствии, когда не станет надоевших ему, возможно, самой У-хоу.

Ведь и ее когда-то не станет.

А еще он многое позволял Бинь Бяо – наиболее приближенному из друзей-монахов. И вот оба они его предали – Тан-Уйгу и Бинь Бяо. Предаёт и та, кого он сделал сравнимой лишь с солнцем и готов сделать сравнимой лишь с Буддой, назвав Дочерью Будды.

В том, что всякой власти народ нужен послушный, терпеливый и властью терпимый, Сянь Мынь давно не сомневался; правитель, не умеющий добиться подобного равновесия терпеливости и терпимости, полного послушания толпы, вынужден действовать принуждением или бесславно исчезнуть. Но вера – его чистая вера – всегда над властью. Ее каноны должны быть просты и для власти, и для первичного понимания уверовавшего, но бесконечно просторны изощренному в многомудрой схоластике создающему ее рассудителю.

Что еще он должен дать им, возвышенным верой, но падких на власть, жаждущих абсолютного верховенства и в нужный момент не умеющих ее взять? Почему всякий неглупый и сильный стремится к самовозвеличению, пренебрегая нередко тем, чего достиг рядом с более сильным? Почему сильным и неглупым быть вместе однажды становится невыносимо и тесно?

Никогда монах не ощущал такого жадного желания встретиться с У-хоу, возбуждающей беседы с ней, изъедающей жажды возвышать, наставляя, и обоготворять ее дальше. Что ей в каком-то евнухе, которым она решила отгородиться от него, ее наставника с юных лет?

Для чего старый князь из далекого прошлого, которого Великая срочно повелела найти Абусу? Чем этот состарившийся князь стал нужен опять, и что за игру она снова задумала?

Вопросов у монаха даже к самому себе было больше, чем ответов, и от Ван Вэя не получить.

Не стараясь понимать происходящее, участвовать в нем, простой ум иногда сам по себе с невольной прозорливостью все это совершает, поскольку вдруг получает случайный сигнал тревоги. Что-то, коснувшись его неожиданно, словно бы пробуждает, пугая близкой утратой, и возбуждает протест. И подобный протест, рождая отчаянное желание противодействовать складывающимся обстоятельствам, не давал покоя Сянь Мыню.

* * *

В дальнем широком проеме залы промелькнула фигура Абуса с двумя стражами, и часть толпы хлынула на него.

– Где Великая?

– Абус, что в Шаньси? Когда генерал Кхянь-пинь даст сражение?

– Увидим ли мы Солнцеподобную?

– Я выполняю поручение Великой правительницы. Ожидайте. – Тоненький голос черного великана-евнуха и особенно его беглый взгляд, нашедший монаха, добавили Сянь Мыню беспокойства.

«Он и не думает скрывать, что исполняет срочное поручение. Ему поручили! Что поручили? Дознание чего-то в отношении князя Се Тэна? Юноши-тюрка? Абус умеет вести допросы. Подвесит на крюк, словно тушу кабана, подпалит пятки огнем...»

Выдержка изменяла, в голову полз всякий бред. Угнетенность и беспокойство по поводу тайных расследований в подземелье дворца усиливалась. Но сейчас верткая мысль его металась совсем не в каменных камерах и не среди криков подвешенных на дыбу. Отринув происходящее в подземелье, она устремилась на верхние этажи дворца.

«Я должен увидеть Великую! Слишком долго мы не встречались. Должен! И раньше других, которые что-то задумали с глупой подачи Ван Вэя. Иначе может быть поздно. Ах, глупый ты, князь! – Но это была только часть его глубокого смятения, и самая близкая. Другая, как бы отстранившаяся от практичной и хваткой, вовлекала в рассуждения совсем будто бы не важные, не к этому часу, и страстно нашептывала: – И совсем не признания под пытками, не заговоры и наветы, он, сам живой разум, вовлекает все наше тело в новые испытания. А что же предшествует этому, команде, получаемой нашей разгоряченной головой? – словно бы вгоняя в транс, зарождалось и путалось в Сянь Мыне. – Откуда она? Кто или что посылает ее? Что это – острая мысль, похожая на вспышку света, не видимая и не слышимая никем, включая обладателя плоти, в которой она возникает? Я не хочу видеть Великую или все же хочу? Если желаю, то должен достичь. Что это во мне, если не Дух Посещающий и Улетающий? Дух-тенгри, дух-тось, дух-дьявол? Сколько их в каждом из нас? В чем сила над нами? Нужно ли побеждать и противиться, если тут же приходят иные? В конце концов, смерть – предначертанная закономерность. Разве этого неизбежного нужно бояться? Что в бесконечном, во тьме бесконечного и пустого – ведь это есть бег сокрытого, которое не дано услышать, но догадаться о котором возможно любому. Увидеть князя Се Тэна – услышав, или увидев – услышать и осознать?.. И обретешь высшую власть, ибо сам станешь Духом над мелкими духами несовершенного».

Решение пришло как всегда неожиданно, кажется, он опять его выстрадал.

Оно пробилось само по себе: Учитель – вот кто нужен ему. Надо срочно навестить Учителя.

Он утомился своим возбуждением, устал блуждать в бестолковых догадках и предположениях, заломило в висках.

– Я не успел пристроить своих людей близко к генералу Кхянь-пиню, но то, что доносят вообще из Шаньси, меня беспокоит, – бубнил князь-управитель, не обращая внимания на тяжелую задумчивость, охватившую Сянь Мынь.

– Что же такое тебе доносят? – сардонически усмехнулся монах.

– Презирая и ненавидя тюрок, Черного Волка пустыни, некоторые заинтригованы желанием тутуна прийти на помощь наследнику. Втайне их это радует. Они злобно шепчут: «Всыпал бы им этот Волк!»

– Всыпал бы им этот Волк? – словно бы удивившись, произнес Сянь Мынь и непривычно громко рассмеялся, снова привлекая пристальные взоры придворных, покинутых поспешно скрывшимся Абусом. – Вот и выплет он вам... если еще не высыпал.

А мысль нашептывала:

«Абус... Нелишне бы присмотреть».

За ним наблюдали внимательней, чем он предполагал, от его неестественно громкого смеха зала пришла в движение, обступив плотно, их с князем стеснили так, что трудно стало дышать.

Новые министры, которые своим провинциальным обхождением, неумением в меру, непринужденно важничать, показались похожими на встрепанного князя Ван Вэя.

Зашевелились неподобающе вольно и тоже надвинулись толпой новые столоначальники, половину из которых Сянь Мынь знал плохо и презирал только за то, что они были назначены без согласования с ним.

И два новых предводителя важных Палат, хотя и более сдержанно, но не менее навязчиво старались попасться ему на глаза.

Он смотрел на галдящее скопище, наполняясь ледяным высокомерием, и видел в каждом нескрываемый страх, десятки вопросов.

Страх перед ним, способным, быть может, завтра уже, как только фортуна-судьба вновь обернется к нему лицом, отправить любого в небытие. О-оо, его тайная власть во дворце давно не была каким-то секретом.

– В саду одного храма недавно возникли слезы на красных цветах. На красных. Ночью. Было душно, и розы плакали. – Он едва сдерживал себя, чтобы не закричать во все эти мерзкие рожи, напряженные страхом, нечто иное, оскорбительное. Изрекая вслух одно, Сянь Мынь мысленно изощрялся в других выражениях. Все перед ним становилось багрово-черным.

Заныл вздувшийся на голове шрам, и Сянь Мынь с силой его потер, вроде бы как пригладил.

– Сянь Мынь, где Солнцеподобная? Почему ты больше неходишь в покои, как прежде входил? – посыпались со всех сторон вопросы.

– Почему мы редко видим Великую Непревзойденную?

– Сянь Мынь, мы можем проиграть сражение в Шаньси?

Они не хотели слышать его – монаха.

Весь этот сброд, возвеличенный мелкомстительной императрицей, жил страхом и ужасом перед тюрками.

Над ними не было власти, что приводило их еще в больший трепет.

– Монах не предсказывает. Он не способен предсказывать – он только учит любить своего бога. Но я не знаю, кто ваш бог. Кто вы такие? Кто из вас кто?

Призывая к тишине, Сянь Мынь вскинул руку.

Но тишины не возникло: слишком взволнованы и напряжены были вельможи, грозно и укоризненно звучал голос монаха. Чем-то пугал поспешно скрывшийся евнух. Все вокруг порождало растерянность, вызывающую нескрываемое презрение, написанное на лице монаха.

– Где генерал Кхянь-пинь? Почему от него нет сообщений? – кричали ему требовательно.

– Подобно каждому, я могу ощущать, но большего я не знаю, – выдержав паузу, ответил Сянь Мынь, удовлетворенный эффектом, который он произвел на толпу, взбаламученную его появлением и его словами.

Решительных действий генерала Кхянь-пиня, удачного сражения с тюрками за Желтой рекой ожидали во дворце, конечно, не все – Сянь Мынь это знал и без подсказки Ван Вэя. Несмотря на внешнее охлаждение суровой правительницы, с ним считались всегда и боялись всегда, обычно с заведомым умыслом и преднамеренно при случае бессовестно кляузничали и постоянно что-то нашептывали, подобно князю Ван Вэю. Его нервный вскрик о плачущих розах вызвал не просто волнение вельмож – он зародил надежду в одних, привел в замешательство других, и всем одинаково монах стал нужен. Столпившись вокруг, оттеснив невзрачного князя Ван Вэя, продолжали чего-то настойчиво требовать. Но чего, Сянь Мынь так и не понял.

– Я должен вас покинуть, отпустите меня, – просил он, стараясь выглядеть как можно беспомощнее. – Расступитесь, я должен вас покинуть!

Голова его вспотела, багрово-сизый шрам накалился и заметней вспух, глаза напряглись. Еще недавно он предчувствовал нюхом гончей собаки, что теряет верный след близкой добычи, за которой так долго и азартно гнался; теперь же, увидев рядом жалкую толпу, омерзительную в ничтожном страхе, Сянь Мынь на глазах изменился, и все разом замолкли, заметив эту властную перемену.

– Князь Ван Вэй! Где управитель дел? – взвизгнул сердито Сянь Мынь. – Ты где, князь Ван Вэй?

В мгновение в нем прояснилось, остался лишь внутренний холод от беседы с Ван Вэем, ударивший благостно и освежающе в голову. Вскинув руку, Сянь Мынь снова потер ноющий шрам и придавил, словно подавляя и убивая бунтующее в самом сознании.

Расступившись, к нему пропустили растерянного и взмокшего князя.

– Ван Вэй, спустимся в подземелье к тюрку-столоничальнику Палаты чинов. Проводи, – обретая благотворное желание немедленных действий, готовый к новым свершениям, пока загадочным для остальных, бросил сухо монах.

И стремительно засеменил сквозь толпу.

Перед ним расступались, шепотом спрашивая стоящих вблизи:

– Он сказал – в подземелье?

– Он пошел к тюркскому князю?

– Вслед за Абусом?

– О-оо! Сянь Мынь может все!

Освобождая ему путь, вельможи внушительными фигурами теснили друг друга, подобострастно шикая на слишком шумливых.

РАСПЯТЫЕ ЦЕПЯМИ

До помещения, в котором содержался отпрыск старейшины Ашидэ, монах не дошел. Остановил неестественно дикий крик. За железной решеткой, прикованный цепями к потолку, висел изможденный князь-советник несостоявшегося императора. Рядом находился Абус. Каморка была тесной и низкой, князь почти доставал до пола большими неестественно вытянутыми пальцами босых ног, пытаясь ощутить самую незначительную опору. Два крепких стража-палача, недавно сопровождавшие Абуса через императорскую залу, нанося удары по этим закопченным синюшным ногам, время от времени подсовывали под них наполненную углями жаровню. Князь вскрикивал, вздергивался, как ужаленный, но висеть без опоры было мучительнее, и он, пересиливая боль ожогов, исходящую от раскаленных углей, вынужден был опускаться в них и дико кричал.

Монах поморщился и произнес:

– Приветствую тебя, высокородный князь. Муки страданий иногда приносят нам облегчения. Ты назвал имена всех заговорщиков?

– Какой заговор? Разве я приказывал арестовывать наставника Тан-Уйгу и монаха Бинь Бяо и направил в Ордос гонца? Сянь Мынь!.. О, Сянь Мынь, я изнемогаю. Когда ты придешь говорить со мною в последний раз? – с трудом признавая монаха, вскрикивал подавленно князь, удивив, о чем просит, как бы желая скорейшего конца мучениям и пыткам.

Пахло паленым мясом, и не ощущалось присутствия крыс, к которым у Сянь Мынь было повышенное чувство брезгливости – крысы ему казались всегда дьявольским перевоплощением сварливых и склочных женщин.

Почему именно женщин, Сянь Мынь не знал и особенно не задумывался, так прижилось когда-то, так представлялось из какого-то далекого детства, где, должно быть, его сильно обижали, и в том, что женщины вообще... крысы, у него сомнений не было.

Его плоть не была развращена немонашескими плотскими забавами, кроме божественного тела повелительницы, других он не знал, но и того, что знал и прочувствовал, ему было более чем достаточно, чтобы возненавидеть и сами утехы, и ненасытную потребность в них безумствующего женского тела.

Особенно, когда собственное состарилось, немощно, но требуется и требуется, его продолжают мучить, терзать, побуждают возбуждаться и совершать, к чему оно уже охладело и утратило чувственность.

«Нет, все женщины крысы, – подумалось монаху непроизвольно и брезгливо, и чтобы избавиться от неприятных видений, замелькавших отгалкивающими сценами собственных истязаний и мук, он заставил себя сосредоточиться на орущим во всю глотку князе Се Тэне, и мстительно подумал: – И ты крыса, Се Тэн. Хищная крыса в чужом подполье. Не захотел играть по правилам, получи».

Толкнув тяжело заскрипевшую решетку камеры и поморщившись, переступая порожек, монах подал властный жест убрать из-под князя жаровню, насмешливо произнес:

– Отважный князь Тэн очень спешит на тот свет? У тебя там дела?

– Я устал называть под пытками имена ни в чем не повинных людей. Разве подобные истязания не противны твоему Богу?

– Моему? А у тебя бога нет?

– Мой бог – мое славное прошлое, над которым вы насмехаетесь, всячески унижая нечеловеческими пытками!

Сянь Мыню не терпелось остаться с князем с глаза на глаз, но сейчас Абус был нужен, и монах, больше не желая облегчить участь узника с острой... крысиной мордочкой и редкой щетинкой усов, назидательно и ворчливо произнес:

– В прошлом ты видишь только Тайцзуна? Князь, какой это бог? Где он сейчас?

– В сердцах тысяч и тысяч! Он будет даже тогда, когда тебя и меня пожрут земляные черви, Сянь Мынь!

Навязчивое видение крыс оставалось устойчивым, не разрушалось, и монах мстительно подумал: «Крысы тебя пожрут, Се Тэн, а не черви. Черви для тебя – слишком щедро с моей стороны».

Ноги князя были поджарены изрядно. Кожа на них полопалась и завернулась лохмотьями, стоять на них Се Тэну было непросто.

Но и поджав их, висеть на вздувшихся руках, было ему не под силу.

Превозмогая нечеловеческую боль, насколько было возможным, князь пытался всем, что оставалось живым, выглядеть как можно достойнее в создавшемся положении, что ему в какой-то мере еще удавалось, поражая монаха незаурядным терпением и не сломленным духом протеста.

Лишь исполненный страданий взгляд распятого на цепях, истерзанного пытками бывшего вельможи говорил о непереносимых муках.

Он проникал в монаха, но жалости и сострадания не вызывал – черствую душу мольбой о сострадании редко проймешь.

И все же Сянь Мынь опустил только что гордо вскинутую голову и, словно бы в оправдание чему-то, что выше его, монаха, и монашеских обязанностей, пробурчал надменно и, скорее, для Абуся, чем для несчастного узника:

– Князь, крамола и государственная измена во все времена изошрены.

– Изошренной становятся только пытки. Я жду тебя каждую ночь, Сянь Мынь. Я стар, терпеть подобные унижения.

– У тебя есть что-то сказать, чего я не знаю?

– Монах, ты знаешь мало? Тебе не с чем сравнивать?

– Ты о чем, князь?

– О прошлом и настоящем. О том будущем, в котором вашими с У-хоу временами станут пугать детей. О том, что ты, ложный служитель Неба, боишься услышать, – выкрикнул князь, не смотря на нестерпимую боль, и словно бы, получив желанное облегчение, поражая монаха выдержкой, тверже встал на кончики ног.

И не только с вызовом встал, но и несколько выпрямился, удовлетворенный, что способен в присутствии всемогущего монаха держаться гордо и независимо.

– Князь решил, что только он в ответе за будущее? Се Тэн, мне тебя жаль.

– Не бесчесть, монах, мое имя, которое уважал великий Тайцзун!

– Ты хочешь лишь сохранить добрым и благочестивым свое имя и честь или... еще чего-то хочешь?

– Сохранить честь Китая. Хочу покоя Китаю, как было при великом полководце Тайцзуне, о чем должен помнить и ты. Сбереечь для потомков уважаемым имя великого императора, которое вы обесчестили, наложив табу на само его произнесение вслух, – говорил князь, точно бросал в Сянь Мыня булыжники о том, что в подобном состоянии произносить не каждому придет в голову. – Тысячелетняя держава знала десятки властвующих династий, но династия Тан, тебе ненавистная, одна из сильнейших. Не разрушайте вечное, что создавалось не вами! Вас проклянут! Остановитесь!

– И поджаренный ты буйствуешь, князь, а подобное буйство сродни глупости... Тебе не о чем больше просить? – досадливо проворчал монах, без труда понимая, что проигрывает князю словесный поединок.

Князь Се Тэн был известен крепким и устоявшимся духом, при Тайцзуне звезд с неба не хватал, большими армиями не командовал, но имел репутацию прямого и твердого человека, таких сломить удается редко – если вообще удается. И, уж конечно, не пытками... Хотя

от боли и пыток люди кричат одинаково дико, кажется, вот-вот готовы сломаться, да иные, вот, не ломаются, принимая смерть как спасение собственной чести. Их вера в идеалы не только упряма, но и жертвенна, чему Сянь Мынь, недоумевая, безнадежно завидовал, и мечтал иметь подобных сподвижников. Но с такими ни посулами, ни соблазнами не поладить, и Сянь Мынь нисколько не сомневался, что конец князя неизбежен и предрешен его поведением, и должен стать поучительно полезным для других непокорных. Что князь едва ли подозревает: напомнив о себе, он только этим предрешил и судьбу, и конец мучениям, в чем Сянь Мынь непременно поможет.

Помогать страждущим – первая заповедь служителя Неба.

Неприменно поможет.

Пора Се Тэну, пора! Пусть исчезнет в бездонном царстве мрака и там восхваляет своего великого Тайцзуна, оставив им с У-хоу право на будущее.

Долгий пронзительный взгляд монаха, устремленный на князя, сказал больше, чем нужно. В этом холодном взгляде Се Тен увидел презрение к себе, недальновидному вельможе высокого положения, и окончательный приговор.

Это был взгляд-убийца – повелителя смерти.

Взгляд хладнокровного мстителя, которому князь не покорился.

Князь, презирая боль, пронзающую тело его и ноги, твердо упершиися в каменный пол кончиками обгорелых и кровоточащих пальцев, преодолевая неприязнь к монаху, снова собравшись с силами, заговорил о самом важном теперь для себя.

– Монах, моя юная дочь! Пожалейте хотя бы ее!.. если ты все же монах, а не дьявол, – произнес он, приглушив на мгновение гнев и ярость в собственных глазах, направленных на Сянь Мыня, словно, надломившись в неравной борьбе и уступая противостоящей силе. – Разве не ты выбрал Инь-шу для наследника, и разве я не высказывал несогласия? Сянь Мынь, я сожалею, что у тебя нет детей и тебе не понять моей боли.

Князь был прав. Он убеждал Сянь Мыня выбрать в жены наследнику другую принцессу, но наследник другой не захотел, и монах ему сознательно уступил. И зря уступил: с принцессой тоже придется покончить – в подобных державных делах сочувствия и сострадания не существует, а последствия бывают крайне печальными.

– Князь, у тебя есть возможность сохранить честь, умерев по своей воле, я могу оказать тебе подобную честь, – с чувством неожиданной искренности произнес монах, снова пронзительно уставившись на обреченного князя.

– Мы не в Японии, харакири у нас не принято. Подобная смерть для человека моего положения – хуже бесчестия, ты не знаешь, Сянь Мынь? Каждый из моего рода чтит и чтит кодекс родовой доблести, и не мне подвергать ее незаслуженным испытаниям.

Да, Се Тэн был упрям, такие позора не приемлют, но, пожалуй, уступить он сейчас, Сянь Мынь, не задумываясь, помог бы в другом, немедленно отправив сломавшегося князя в ссылку к наследнику, и тогда... Через несколько лет, если князь проявит благоразумие, оба они с Чжунцзуном спокойно могли бы вернуться.

На мечты нет запрета, в полете они – точно птицы, но толку-то что?

– Князь, я не спешу, у тебя есть немного времени... Надумаешь говорить серьезно, позови, я приду. Прояви высшую мудрость, твоя смерть ничего не изменит.

– Отказаться от прошлого, в котором не было животного страха, которым охвачена сейчас Поднебесная? От всего, чем жили мы при Тайцзуне, поднимая Великий Китай?

– Прощай, Се Тэн, я спешу.

– Сянь Мынь, спаси мою дочь, и в грядущем Небо тебе это зачтет! – рвался голос узника из каменной скорлупы; за спиной у монаха гремела решетка.

Неожиданная встреча монаха сильно расстроила, лучше бы ее не было. «Почему неглупые люди настолько беспечны? Что в пустом диком упрямстве? – думал удивленно монах. –

Им дают власть, награды, окружают почестями, требуя лишь одного – преданной службы тем, кто это дает. Но, принимая, что идет в руки, они становятся высокомерными и неуступчивыми, по сути, в ничтожном. Никто не отказывается добровольно ни от наград-почестей, ни от должностей, и только ждут еще большего признания и своего заурядного ума, и незначительных заслуг. И дочь он свою отдал в жены наследнику не без умысла и расчета. Ведь не уперся, наотрез не отказал, за что, в худшем случае, был бы лишь изгнан. Без раздумий пристроился к трону – точно там и должен стоять... Да что – пристроился, просто вцепился, подобно бульдогу, подавляя принца неукротимой энергией так называемого созидания. Созиданием чего? Насколько же разным способно быть это самое созидание!»

Такого князя Сянь Мынь не понимал и не принимал. Что толку запоздало кричать о чести? В этом ли честь: к чему-то громко взывать, зная, что совершал вовсе не то, что должен был и что тот же Сянь Мынь настойчиво ему подсказывал совершать, чем подставил под смертельный удар не только себя, вместе с дочерью, но и наследника.

Настроение монаха испортилось окончательно.

* * *

Ючжень, молодой отпрыск ордосского старейшины-князя Ашидэ-ашины, прикованный к стене, был в бессознании. Блеклый свет факелов падал на оголенное, так же познавшее безудержную власть палача, обмякшее в бесчувствии совсем юное тело. Оно напомнило Сянь Мыню старое художественное полотно какого-то палестинского живописца, изображавшее распятие христианского божества с семью именами. Обнаружив картину в Галерее искусств, он приказал уничтожить ее как вредную веру. Тогда он сказал, глубоко не вдаваясь в суть этих имен, совсем не принимая в расчет, что какими-то из них называли Бога-отца, а какими-то Бога-сына: «Легко развалить, труднее собрать. Эль, Элах, Элохим, Хава, Яхве, Иегова, Иисус – когда нет единого, нет и единства. Люди перессорятся, утверждая каждый свое. И не будет ни правых, ни виноватых».

Недолгая встреча с Се Тэном точно добавила ему некоторого успокоения, Сянь Мынь позволил себе усмехнуться неожиданному воспоминанию, подошел ближе к подвешенному на цепях княжичу и осветил его лицо факелом.

Оно было в кровоподтеках – юное и красивое лицо княжича, словно его пытались насильственно расчленить на несколько частей и рвали щипцами; Сянь Мынь произвольно поморщился.

Будучи сыном знатного тюркского предводителя с кровью князей-ашинов, генерал-губернатора Шаньюя, и с детских лет находясь в Чаньани в положении императорского аманата, то есть заложника, юноша состоял под негласным надзором особых государственных служб и самого Сянь Мыня, нередко приглашался на важные государственные приемы, и Сянь Мынь был с ним знаком неплохо. Но больше всего знал о нем из доносов как о гуляке и прощелыге, любителе выпить и поволочиться за симпатичными дочерьми вельмож. Похождения любвеобильного тюрка не однажды становились предметом серьезных разбирательств в высоких комиссиях по нравственности и государственным чинам. Правда, в последнее время, не без усилий монаха, поручившего присмотр за княжичем гвардейскому офицеру Тан-Уйгу, юный отпрыск знатного рода сильно переменялся, нареканий не вызывал. Он был тонок в талии, жилист и дьявольски привлекателен. Его продолговатое тюркское лицо, обрамленное черными волосами в завитушках, мгновенно притягивало к взору дам, вызывая и возгласы удивления, и тайные женские вздохи.

Отцам благородных семейств, имеющим легкомысленных дочерей, подобный бестия, приближенный ко двору, одно наказание. Жалоб на таких полно во всех палатах и канцеляриях.

Достигали они и ушей императрицы, на что Великая говорила усмешливо подателю жалобы, сузив хищно глаза: «Достойнейший муж, вспомни себя молодым! Ты сам никогда не охотился за нежным цветом из запретного сада?»

«Но честь моей дочери!» – изливал свое возмущение вельможа, доведенный до крайности.

«Чтя обычаи, твое юное создание должно быть в колодках, создающих ее будущую привлекательность тонкими ножками, а не посещать вредные заведения. Ты ее породил, ты за ней и следи».

Высвечивая факелом и воспользовавшись бесчувственностью молодого заключенного, Сянь Мынь внимательно изучал его изуродованное обличье, искал какие-то важные для себя перемены.

Еще недавно бывшее до неестественности нежным, как будто бархатным в завлекательной легкой смуглости, сейчас оно выглядело грубым, отечным, покрытым коростой, углубилось морщинами пережитого страха, перекошено болью изломавшихся тонких губ.

Кровоточило и все его стройное, изогнувшееся в цепях, безвольно обвисшее и до пояса оголенное тулово.

В кровавых рубцах, рваных ранах были плечи и грудь, и весь торс Ючжэня.

Но увиденное не вызвало у Сянь Мыня какого-то соучастия.

Впрочем, любое состояние измученного пытками человека никогда не рождало в монахе глубокого сострадания – его интересовала только крепость духа, внутренняя сила противостояния мучительству, одержимость истязаемого. В этом он и У-хоу походили друг на друга. Отличались они лишь тем, что императрица наслаждалась насильственной смертью жертвы, выбранной ею же самой, и предшествующими этому не человеческими страданиями и муками, запечатлевая на своем маленьком божественном личике надменное торжество, а в монахе они возбуждали скрытое любопытство и глубокие раздумья, морщившие лоб и накалявшие шрам. Сянь Мынь испытывал слабость к изучению особенностей природы живого и, возможно, не стань монахом, из него вышел бы неплохой медикус. Из всех придворных лекарей, которых он знал, больше всех ему запомнился старый врачеватель Тайцзуна и его молодой ученик Сяо. С лекарем Сянь Мынь даже дружил, принимал участие в тайных опытах по исследованию человеческой головы, во многом ему содействовал и спас от неминуемой и жестокой смерти, когда врачевателя едва не объявили колдуном и шарлатаном. Потом их дороги разошлись, одаренный лекарь пропал в безвестие, однако поселил в Сянь Мыне тягу к новым познаниям таинственной человеческой природы. Презирая слабых и сломленных, Сянь Мынь ощущал постоянную тягу к беседе с теми, в ком еще не иссякло желание жить. В своем непростом, еще домонастырском прошлом ему довелось испытать долю мальчишки-подпаса, безжалостно истязаемого хозяином за недогляд и утерю овцы. Он познал на своем опыте изнурительную и оупляющую глухоту страшной физической боли, пределы терпения безжалостно терзаемого тела и тихое, усталое возвращение его вновь в блаженное состояние покоя. Он уважал тех, кто не позволял телу невольной, обольстительной радости больше той, которой оно заслуживает, вытерпев муки. Он любил наблюдать за такими людьми, совсем не придавая значения, о чем они говорят с ним, следил больше за ходом их мыслей, чем за словами, за странными переменами на возбуждающихся физиономиях. Он ценил в человеке, обреченном на смерть, величие непостижимого терпения и мужества, что пытался увидеть на юном лице несчастного княжича.

Дух и воля необоримы, выпрэнно думал монах, – страдает лишь тело, которое Свободному Разуму так же необходимо, как бессмертие божеству. Тело, подверженное постоянным изменениям и, как утверждал исследователь Сяо, в течение семи лет возобновляемое до последней частицы, – и есть наш природный грех. Меняя себя, под покровом нового перерождения оно сохраняет НЕЧТО постоянное и неизменное. И только ОНО слышит боль и

рождает желания. Оно просит, жаждет и наслаждается, получая долю желанного, и никогда не поучая всего. Именно тело противится смерти, не душа и не вольная мысль, бесчувственные к физическому и плотскому. Оно бrenно, бессмертен лишь дух. Не найдя себе применения в одном грубом тулове, этот витающий дух вечного в состоянии обрести и другое и третье, в чем Сянь Мынь был уверен и о чем с молодым врачом Сяо возникали постоянные разногласия. Разум смерти не слышит, не знает ее и никогда не узнает. И в этом Сянь Мынь в отличие от медикуса Сяо был глубоко убежден, как и в том, что главные беды судьбы – ярмо и узда – лишь оболочка сущего. А Свидетель всех происшедших с годами перемен в людях остается в нашем бrenном остоле навечно, что и заставляло умствующего монаха искать в чужих телесных терзаниях, криках и столах непонятное для него и запределное, стараясь услышать крик тела, ищущего перевоплощения.

«И если бы это было не так, наш разум не знал бы о переменах в нашей оболочке, – не без труда освобождаясь от образа волевого князя Се Тэна и через усилие переключая сознание на умирающее тело княжича, думал монах. – И если бы наш разум возобновлялся, как плоть, и с той же быстротой, он бы не смог осознать свершающихся в ней перемен. Чтобы проследить движение, наблюдатель должен оставаться в покое. Или, по крайней мере, двигаться с иной скоростью», – продолжая всматриваться в Ючжэня и невольно вспоминая, что только что удалось увидеть в соседнем узилище и перемены, случившиеся с князем Се Тэном, думал Сянь Мынь, знающий о Законе относительности, построенном на контрасте и неоспоримым для него. Принимая постулат о физических переменах человеческой сути, он вынужден был признавать, что помимо событий непосредственно в теле, есть нечто, заносимое в память подобные изменения. «Но тогда и духовность в каждом способна расти: кто упражняется в самоотречении и способен погружаться в бесчувственность, может развивать в себе эти свойства до бесконечности, – несколько не беспокоясь состоянием княжича, рассуждал холодно монах, почему-то уверенный, что истязатели ничего нового и опасного для него, Сянь Мыня, у княжича не узнали.

Монах был вполне удовлетворен состоянием юного княжича, позволяющим без помех понаблюдать за его телом, истерзанное пытками и, как бы в продолжение неоконченного спора с лекарем Сяо, он спрашивал себя: – Так есть ли Душа и Бессмертие или их нет? А если есть, как увидеть?»

Ответа не последовало или Сянь Мынь его не услышал, поскольку вниманием завладевал молодой князь, и монах приблизился еще на полшага.

Князь Ючжэнь, сам того не желая, оказался напрямую причастным к судьбе монаха Сянь Мыня, вольно или невольно затронул его интересы. Зная князя давно и как будто неплохо, интереса к нему, равного вниманию, оказываемому молодому гвардейскому офицеру тюркского происхождения Тан-Уйгу, Сянь Мынь никогда не испытывал. Для него это был юноша светский, бездумный, увлекающийся вином, праздностью и легкомысленными красотками. В нем была внутренняя цельность, но, как и в его родителе, князе-старейшине Ашидэ, она не имела решительных и полезных устремлений, как понимал Сянь Мынь.

В нем не было и не могло быть того, чем только что возбудил его князь-регент. И не замечалось тех волевых начал, которые выделяли Тан-Уйгу.

«Другое поколение! Совсем другое! Легкомысленное, не закаленное суровыми монастырскими испытаниями подобно моему поколению! Что такому поручишь, будь он и предан, словно собака?» – говорил он себе с некоторой досадой и, словно бы сожалая, заранее перед юношей в чем-то оправдывался.

Знал он и жену его, вышедшую из некогда знатного китайского рода, вставшую на путь не менее праздный, свободную в своих поступках. И, вспомнив о преднамеренной встрече с ней в музыкальной школе, прославившейся известными в столице «женскими братствами», тайно взятыми У-хоу под покровительство, опять усмехнулся невольно.

Приказав стражам облить Ючжэня водой и всем покинуть каменный склеп, в ожидании, когда юноша, сделавший попытку пошевелиться, очнется окончательно, монах продолжил свои скучные монашеские измышления. «Не отождествление разума с телом, а постоянный поиск истинного тождества с нашим Истинным «Я» составляет наш жизненный путь. Дух выше разума, потому что бессмертен, – говорил он зачем-то себе, словно для этого у него не могло возникнуть другой возможности. – Для обретения этого важного «Я» есть четыре духовных пути: Джиана, Бхакти, Раджа и Карма Йоги. Чем больше в нас эгоистичного «Я», тем меньше Будды. Садхана – духовная практика, которая должна выполняться ежедневно, чтобы мы научились жить Божественной Жизнью. И это – священные собственные усилия, но к ним необходимо людей постоянно побуждать. Да, Учитель прав, я отстранился от Высшего бытия и надо снова приблизиться. Непрерывный поток моих мыслей создает вещественный мираж, а это и есть орудие Богини иллюзий для запугивания разума. Все, все вы запуганы, люди!», – убеждал он не то самого себя, не то кого-то еще, незримо присутствующего рядом, и, наконец дождавшись, когда Ючжэнь приоткрыл глаза и взбрыкал цепями, вкрадчиво спросил:

– Молодой наследник старейшины Ашидэ-ашины знает, кто говорит последним с обреченными на казнь?

– Тайная страсть монаха Сянь Мынь известна не только в Чаньани, – сипло произнес Ючжэнь. – Но разве монах не знает, что умирает лишь тело, а душа остается? Что получишь, умертвив еще одно жалкое тело? Высокий служитель Неба не устал упиваться насильственными страданиями похожих на него и созданных, как и он, по божественному подобию?

– Ты втягиваешь меня в трудные рассуждения, понимая, что это просто и не более. Предмет спора вполне любопытен, но времени сейчас у меня нет. Можешь ответить проще, не затмевая горячий рассудок бесполезной схоластикой мудрых и давно умерших?

– Сянь Мынь, спроси сам, о чем хочешь спросить! Ни в чем не повинный, я хочу сохранить свою жалкую жизнь.

Ответ был прямой, твердый, чего Сянь Мынь ожидал меньше всего. Подумав и, очевидно, намереваясь узнать о чем-то другом, он резко бросил, сохраняя на лице равнодушие:

– Почему князь Ючжэнь Ашидэ не ушел в степь следом за Тан-Уйгу? Разве вы не друзья, посещавшие вместе самое безнравственное братство твоей высокомерной и распутной супруги?

– Он уделял мне не слишком много внимания. Кто я такой? Куда бы я с ним?

– К тем, кто ценил твоего родителя, где старейшина-князь Ашидэ был вождем. У тюрков Степи сейчас нет князя-ашины.

– Что толку во мне – я им чужд. И я слаб.

– Телом или духом? В чем твоя слабость для тех, кто разбойничает в Степи? – сузив глаза, не без обострившегося любопытства спросил Сянь Мынь.

– С телом у меня все в порядке, я знаю боевые искусства, провел не один опасный поединок, выдержал пытки твоих палачей, но чего хотят от меня?

– Размышляй. Кажется, ты неглуп.

– Я не участвовал в заговорах китайцев против китайцев, а, порываясь уйти – не ушел.

– Почему? – Монах выглядел задумчивым, но слушал и наблюдал за князем внимательно.

– Тутун Гудулу отправил меня обратно, когда я, посетив его лагерь, просил разрешения остаться. Такие, как я, ему не нужны.

– Вот как! – воскликнул монах. – Когда это было? Мне неизвестно.

– Во время прошлого тюркского набега я был направлен именем императора Чжунцзуна в составе высокого посольства к тутуну для переговоров о мире и говорил с тутуном.

– О мире? И об этом мне мало известно.

– Да! И о готовности Поднебесной империи признать право тюрков на часть верховий Орхона.

– Мне об этом ничего неизвестно. При этом тебя наставлял Тан-Уйгу... или монах Бинь Бяо? – со скрытым волнением спросил монах.

– Тан-Уйгу, наследник, князь-управитель, Бинь Бяо – все, кто встал рядом с тронном! Они были едины в предании забвению всего, что случилось в Ордосе, в песках, Шаньси.

– И что же? Ты не остался? Почему ты вернулся? – с нескрываемым раздражением поторопил юношу монах.

– Беседуя с тюркским предводителем тутуном Гудулу один на один, я сказал, что мы, чаньаньские тюрки, не поддерживаем его намерений бесконечно сотрясать Великую империю и держать невинный китайский народ в постоянном страхе, – не без труда произнес княжич.

– Судьба Китая тебя волнует больше, чем судьба твоего непокорного народа?

Глаза юноши вспыхнули гневом, и он произнес:

– Я сказал, что вместе с ним желаю обрести свободу в Степи. Я сказал тутуну: поставь меня рядом, я пришел навсегда. А он ответил: возвращайся в Чаньань, Ючжень Ашидэ, такие, как ты, здесь не годятся.

Состояние зрелости и возмужания княжича было еще неустойчиво, недостаточно укреплено и духом и волей, чтобы Сянь Мынь мог использовать его незамедлительно, хотя мысли такие в монахе бродили. Ючжень еще не нашел себя окончательно, поскольку не обрел сильного хозяина. И может его не найти, как далеко не всегда находят многие прочие, вовсе не слабее Ючжени. Опасным молодой князь пока не был, но мог им стать. Он мог бы пригодиться монаху. Всей интуицией Сянь Мынь слышал в нем нарождающийся дух свободлюбия, с сожалением понимая, что таким юноша ему бесполезен, а тратить время, пытаться сделать другим, наверно, поздно.

Все же монаху было жаль его, жаль больше, чем князя Се Тэна.

Не проявляя мысль до конца, он спросил:

– Разве ты не носишь чин офицера? Не умеешь вести, управлять, готовить к нападению всякое войско? Или у Черного Волка нет нужды в образованных военных?

– Я не умею делать иначе, чем делают в китайской армии.

– Армия – порядок и дисциплина.

– Армия – только рабы, слуги, солдаты, в орде – воины.

– Тутун способен создать большую орду? – нисколько не тяготясь навязчивостью и не желая замечать состояние княжича, разговаривающего через силу, спросил громко Сянь Мынь, словно пытался быть еще кем-то услышанным в искреннем любопытстве.

– Монах, она зародилась клятвенной кровью в склепе шамана Болу. Тебе доносили, но ты и У-хоу не захотели серьезно задуматься. Орда скоро поднимет над Степью священное знамя Бумына.

– Ты считаешь, Черный Волк его еще не поднял?

– В том смысле, как я говорю, пока не поднял. Он с ним в Китае, а мне не по себе, что священное тюркское знамя трепещет в Китае. Лучше бы ему сейчас возбуждать и призывать к единению всю нашу Степь.

– Глупец! Чем изощреннее разум, тем утонченней коварство желаний! Во всякой легенде присутствует ложь, преднамеренность и преувеличение, – раздраженно произнес монах, минуту назад вроде бы сочувствовавший князю. – Истина сине-голубого знамени тюркской старины куда проще. Однажды император Поднебесной, предлагая воинственным тюркам, год за годом разорявшим северные провинции Поднебесной своими набегами, дружбу и примирение, вместе с китайской принцессой, поощрил этим знаменем несильного

кагана Орхона или Селенги, точно не помню какого. Так было на самом деле и записано в хрониках, твой друг Тан-Уйгу знает об этом доподлинно. Какая в нем святость?

– Может, и так, но легенда приятней тюркскому сердцу. Она не строчка в бумагах придворных сочинителей, а добыта тюркской саблей и достигла далеких земель. Легенда живет строчки в хрониках, громкого слова – она возбуждает наш разум и поднимает в седло весь тюркский народ.

Молодой князь был горяч, взгляд его казался гневным, и был всего лишь протестом, желанием укрепить себя тюркским честолюбием, природной княжеской твердостью, которой он весь дышал, невольным образом напоминая Сянь Мыню князя-отца. Умственной широты, глубины самого мышления в нем не хватало.

– И все же ты из князей рода ашинов! В тебе чистая кровь тюрка-отца и самого Кат Ильхана! Никак не могу понять, почему тутун Гудулу тобой пренебрег. Одно твое имя князя-ашины – само по себе стало бы знаменем!

– Князь Ашидэ, мой отец, не был вождем и воином, как другие. Подобно шаману Болу, он был только духом, хранящим в своем сердце тюркское прошлое. Я не владею и этим.

– Великое прошлое хуннов! Прошлое жужаней, сяньбийцев! Величие тюрков, ушедших на закат солнца вослед хунну! Ты ведь знаешь все это, князь? Но что было от века выше величия Поднебесной и что может быть величественней?

– Обычная жизнь кочевника-тюрка, монах! Но разве в тебе осталось еще от монаха? Ты пришел как палач, забирай, ради чего пришел. Но помни: души умерщвленных в пытках, души насильственных жертв возвращаются демонами. Что будет с моей душой, когда я умру? Что случается, когда вы казните, на ваш взгляд, недостойных и сеете зло, превращая умерших в демонов?

По-своему, но не менее Се Тэна упрямый, юный князь его раздражал. Приглушая нарастающий гнев, монах произнес как можно равнодушнее:

– Зло по ту сторону сути – забота Небес, я пока на земле, из плоти. Жаль, Ючжень Ашидэ, ты научился много спрашивать, но мало умеешь свершать. Ты ничего не умеешь пока. – Не желая унижать юношу значительней, чем уже случилось, Сянь Мынь не сдержался и, давая понять, что неблагочестивые порядки в девичьем обществе-братстве, в котором жена княжича – не последняя скрипка, и где молодые люди погрязли в разврате, осуждением, кроме У-хоу, всей Чаньяню, с презрением добавил: – Надеюсь увидеть воина, полного гнева и злобы, я встретил... «жену» для братьев-подруг твоей настоящей жены. Какой с тебя прок?

Беседа монаху ничего не давала. И в этом он был сам повинен, поскольку так построил и повел. От нахлынувших воспоминаний о пороках так называемого женского братства, в котором юный мужчина становится общей собственностью любвеобильных красоток, взятых под защиту императрицей, его неожиданно передернуло. Всегда озадаченный бессилием в борьбе с женскими пороками, утомленный неприятной и раздражающей беседой, он опустил факел.

– Не унижайся до гнева, монах. Я могу быть воином, но я оказался не готовым во время и уже не придется, – произнес грустно Ючжень.

– Чего тебе не хватает, Ючжень? – приподняв опять факел, спросил монах, на мгновение вспыхнув оживающим любопытством.

– Того, что князю-отцу – Великой Степи наших предков. Только там я смог бы услышать себя иначе.

– Но там ты чужой!

– В Степи наших предков мы все будем долгое время чужими, но душой мы там, – ответил Ючжень с хриплой надсадой.

«В Степи! Как безумцы, они рвутся в Степь!» – досадливо подумал Сянь Мынь и резко спросил:

– Готовясь умереть, о чем хочешь просить монаха?

– Просить?.. Ючжень звякнул цепями. – Ни о чем. Хотелось бы только спросить: убивая, о чем ты сам хочешь просить того, кого убиваешь чужими руками? Небо создало нас одинаковыми, но ты поднялся над многими и решаешь сам за богов.

– Монах никогда не просит – он вопрошает и только.

– С тем и уйди, Сянь Мынь, – довольный собою. Я сожалею, что оказался таким нерешительным... И никогда не увижу Великую Степь.

– И мне тебя жаль, молодой князь-ашина. Ты оказался не тюрком и не китайцем... Жаль, – сгоняя с хмурого лица тень раздумий и последнего сожаления, наполняя тоненький голос привычной твердостью, произнес монах.

– Монах, почему я вроде бы нужен... и в тоже время точно отвержен? – в тоскливом смятении воскликнул юноша-князь.

– Так бывает, князь Ючжень... когда кто-то кому-то начинает мешать по разным причинам, – глухо, как приговор, прозвучал в тесном каменном каземате голос монаха.

Это был голос, возвещающий приближение смерти; молодой князь откинулся на стену, обречено закрыл глаза...

На выходе из подземелья монаха дожидался князь-управитель Ван Вэй.

Тревожно любезно раскланиваясь, он произнес:

– Дальновидный и мудрый Сянь Мынь желает повторить посещение молодого князя?

Слащавый голос управителя и его ненужный вопрос доставили Сянь Мыню новую досаду и подстегнули принять окончательное решение.

– У меня нет к нему интереса, управитель Ван Вэй, – лишь обозначив ответный поклон и давая понять, что в спутнике больше не нуждается, ответил сухо Сянь Мынь. – Поступай, как задумал.

НАЕДИНЕ С ВЫСШИМ ГУРУ

– Абус направился в подземелье, Сянь Мынь, кроме няни у Солнцеподобной нет никого, поторопись, – послышался шепот, заставивший монаха вздрогнуть, несмотря на его нетерпеливое ожидание такого сигнала.

– Перекройте подступы! Чтобы ни одна мышь... Отвлеките Абуса, не подпускать!

– Будет исполнено, господин.

С кряхтением поднявшись на ноги, монах бесшумно плывущей походкой засеменял по переходам в сторону царственной опочивальни.

Задуманное монахом и тонко провернутое слугами становилось реальностью, что Сянь Мынь не мог не воспринять как предрасположенность к нему высших богов, перед одним из которых – Буддой в образе каменного идола – он всю ночь просидел в молитвах с подвнутыми ногами, искренне восклицая:

– Великий Гуру! Ты ведешь нас по терниям сотни, тысячи лет! Мы служим тебе, не жалея жизни! Скажи, подай знак! Сейчас я предстану перед равнодушной повелительницей и что должен сказать? Должен ли я добиваться от этой холодной мумии, в последнее время похожей на ходячий труп, и довести до конца, что задумал?

Камень был нем, и монах, изнемогая, со страстью взывал:

– Учитель, я назову ее твоей дочерью! Плотью от плоти и духа твоего! У-хоу – китайская императрица – Дочь Будды! Ей этого мало? Другие женщины царствовали, сидя за ширмой. Они могли управлять Империей, но ни одна не основала династию. Другие императоры совершали паломничества к Священным Горам, но ни один не познал небесного откровения. Вечность все длится, плющ оплетает стены, росписи стираются, деревянные колонны истачивают черви или же они гниют под наростами лишайников. Почему некоторым предметам дано пересекать завесу времени? Почему некоторым местам удается не познать упадка? Почему имя, драгоценность, чаша доходят до отдаленных веков, подобно кораблям-скитальцам, обретающим гостеприимную гавань? Я прикажу высечь в скале такое твое изображение, какого нет в мире. Я... Я... О, боги, я слышу! Я знаю, что предложить! Я создам пантеон царственному Гаоцзуну, в котором будет предусмотрено на будущее величественное место и для нее... Не откажется! Она не сможет, – шептал он под утром, охваченный нервной возбуждающей дрожью, зримо представив то бессмертное в чреве скалистой горы, вырубленное под статуей вечного Бога-Гуру, что возникло перед его глазами, что не могло возникнуть в нем само по себе.

Бессмысленно искать истину в камне, но Сянь Мынь не считал заблуждением телесное самоистязание, подобные объяснения со своим Пророком у него снова случались все чаще, почти как в прежней монастырской жизни, и он все чаще позволял себе ночи напролет упрямо бить поклоны его бестелесному изваянию.

– Неужели ты не можешь провидеть, что станет с Китаем, когда я довершу свержение династии Тан? – говорил он ему какой-нибудь час назад, ожидая сигнала от преданных слуг, что путь в покои правительницы для него расчищен. – Я близок к цели, мой высший повелитель! Помоги своему рабу и служителю! Поверь мне, клянусь, я заставлю припасть к твоим священным стопам еще больше боголюбивых китайцев! Великий и Бессмертный, они верят в твой дух и твое Слово! А еще у нас в запасе Великая Степь Времен! Твоему имени станут поклоняться во всех беспредельных землях!

Монах не кощунствовал и не лгал, он верил в осуществимость того, о чем страстно шепчет в своем одиночестве и тайно мечтает. Непрерывный поток мыслей, которым он упрямо пытался подчиниться, создавали в его воображении иллюзорно овеществленные миражи. Главным из них, упирающимся в облака, был каменный столп – Будда, на которого

никто, кроме избранных, его и У-хоу, не смел поднимать взгляда. И Сянь Мынь которую ночь видел величавого истукана, плавающего в пространстве, способного заставить пасть ниц жалкий люд.

Преклониться перед Гуру-Пророком, следовательно, и перед ним, отважившимся соорудить подобное чудо.

И он, смертный монах, Сянь Мынь, подобное сотворит.

Его мысли перед посещением императрицы были холодно расчетливы и прагматичны, никакого раздвоения или колебания не рождали. Цель достижима, когда отринуту решительно все, что любыми незначительными сомнениями мешают ее воплощению. Колебания – удел ничтожных; он, монах, призван изрекать и внушать исполнение задуманного силой божественного Просветления.

В последнее время, в тревоге истязая себя подобным образом до изнеможения, Сянь Мынь уставал в умственных бдениях, но боги умеют испытывать неистовых служителей суровым безмолвием, ведь боги лишь химера воображения, они вообще бессловесны.

Разумеется, монаху не казалось так никогда, чаще мнилось, что боги к нему благосклонны, с ним говорят и его наставляют – когда вбиваешь день и ночь одно и то же в свое подсознание, убежденность придет. Хотя не мог не понимать, что, подобно другим божьим угодникам, он давно сам решает за Бога, убеждая потом остальных в высшем предвидении и якобы услышанном гласе Небес. Вера и верования – понятия тонкого порядка, не только истинно чистые, но заведомо прагматические, что и составляет нередко двусмыслие самого верования. В нем иногда беззвучно прячется не столько преданность и поклонение бессловесным богам и Небу, сколько безоглядная убежденность в некоем будто бы несомненном Просветлении истинной Святостью, слетающей с Неба мудрыми наставлениями самого Учителя, которые услышать и принять никому, кроме избранных и предназначенных для подобных незримых общений, не суждено.

Да это уверовавшим и не важно – почему голос Неба не слышен другим. В их восприятии, как и в понимании монаха, таких вообще должно быть как можно меньше, тогда и смут, и всякого рода заблуждений поубавится. Главное – он слышит. Или... будто бы слышит. А люди, паства... Он это прошел и много отдал за то, кем стал.

Во все времена люди добровольно и жертвенно платят непомерную цену за обычную слепоту, из которой он вырвался через немалые усилия, но трезвомысленней не становятся, блуждая в потемках и загоняя себя во тьму, предавая проклятию тех, кто так не считает и так себя не ведет. Им вера нужна как слепому поводырь, чему он и служит и никогда не вредит; подчас для многих она единственная защита от голода и нужды, от насилия и угнетения и самой жизнью готовы платить за эту надежду-спасение ТАМ, в мире покоя, и мешать им не стоит.

Кто еще их услышать? Кому еще прокричать боль своего холодеющего сердца, опутанного ложью, насилием и бесстыдством? Нет больше никого у грешного исстрадавшегося человека. И пусть будет Бог-Государь в лице той же У-хоу, какой бы она не была на самом деле, правитель и господин, в чем-то жестче, а в чем-то беспечней бестелесного Бога.

Он только этого добивается, – убеждал своего истукана монах нервно и сбивчиво в ожидании слуг, в том, что живет в словах, взываниях, слезах, и загадочная улыбка Того, кто вращает Колесо Времени.

Из приемной императрицы долго не шли, он утомился сильнее обычного и, кажется, уже начинал кое в чем повторяться.

По-своему истолковывая постулаты древней незыблемой веры в Будду и буддизм, теорию «большой колесницы» и учение «Дзэн», Сянь Мынь был убежден в том, что всякое бытие есть страдание, а значит должен быть путь освобождения от этих страданий. И заключается он, путь этот, в том, что подобные муки, как бесконечное душевное или плотское

беспокойство, общая нелегкость, напряженность, неудовлетворенность, с каждым днем в живом и телесном только усиливаются – и надо уметь как можно скорее от этого избавиться. И он, временно уступив, должен снова возвыситься над растерянным сознанием У-хоу, вернуть утраченное преимущество и необходимую прежнюю власть над нею.

Но как это сделать? Как тоньше построить беседу и что еще предпринять, если беседа вдруг не завяжется? В чем боги могут помочь – они же обязаны быть на его стороне!..

Старая служанка была сообразительна.

– А вот и Сянь Мынь, – обронила она вроде бы сердито и поспешно добавила: – Ну, Сянь Мынь, так – Сянь Мынь, а то ты одна, моя ласточка, да одна... рядом с этим кастратом. Не беспокойся, я буду рядом, глаз не спущу.

Приблизившись к балдахину, монах с напряжением всматривался в темную глубь царственного алькова, с досадой понимая, что повелительница не видит его и не слышит. Недавно еще неумная в безотчетных приступах женского гнева и страсти, которым она нередко поддавалась, ненасытная к извращениям на своем изошренно похотливом ложе, императрица словно бы вдруг пресытилась телесными забавами, как пресыщается удав, не без приятных мучений проглотив крупную добычу. Она затаилась где-то в изголовье постели этим хищным удавом с маленькими, не моргающими глазками, устремленными вовсе не на монаха. Но достигла ли она желанного... насыщения и кого видит сейчас перед собой? С кем была эту ночь и чем утомилась? Монах не по своей вине не встречался с ней больше недели, вернувшись с Жертвенной горы, У-хоу разом как-то затихла, не требовала от вельмож ежедневных отчетов, не созывала советов, не отдавала привычных распоряжений. Не управляя сама делами государства, она и его, преданнейшего слугу, не побуждала привычным ворчанием к неотложному исполнению, и получилось, что весь вельможный дворец в ожидании неизбежной грозы словно бы притаился, затих, никто не осмеливался напоминать правительнице о важных государственных делах и повседневных императорских заботах.

А забот было много, ленивая державная машина никогда не является толком отлаженной ни в одном, самом добропорядочном и разумном государстве, и Великая Поднебесная исключения не составляла. С тяжелым вековечным скрипом вращала она государственные жернова, ломала и перемалывала новые и новые судьбы. Ей, запущенной однажды по высокоумным расчетам и соображениям власть предержащих, уже не было в этом особой нужды. Ей достаточно было тех, кто устремляет чиновничью энергию на черпаки ее чудовищного маховика, вращающегося с размеренной скоростью в заданном направлении, оставляя главной задачей ломать и переламывать, молотить-перемалывать, и пока сила устойчивого давления этой вторичной власти на ее маховик не ослабевает, она эту главную задачу будет исполнять самостоятельно. Но... Но важные перемены во все эти государственные круговращения нужно вносить постоянно, не от случая к случаю. А кто подскажет и подтолкнет сделать вовремя то или это, если не он, Сянь Мынь?

Монах умел быть терпеливым. Не без помощи старой няни, поспособствовавшей оказаться в покоях, он стоически выжидал, когда взгляд императрицы обретет осмысленность и заметит его, послушно и преданно преклонившего перед нею колена и поседевшую голову.

Истинно высоким и чувственным одиночество бывает лишь у великих людей. Оно насыщает этих людей и самое себя неординарным воображением, расширяет или уплотняет их своевольные глубокие раздумья величием прошлого и настоящего, способно, как озарением, высветить будущее; убогих, ущербных, озлобленных оно делает, соответственно, еще более озлобленными, мстительными и для окружающих опасными. У-хоу сейчас монаху казалась убогой и жалкой, и он, пытаясь поймать ее бесцельно блуждающий взгляд, проявлял твердую выдержку.

Не имея возможности беседовать с нею в течение нескольких дней, плохо понимая ее состояние и многим рискуя, он расчетливо выжидал, когда императрица заговорит сама.

Правительница рвала на ленты шелк и молчала... А главный трон в императорской зале по-прежнему пустовал, возбуждая монаха, властные направляющие струи чиновничьего напора на мельницу их единой машины-державы с некоторых пор лились неровно, нужно было вносить срочные изменения, усиливая или ослабляя этот нажим, и если не он вернет ее к нужным делам, то кто же еще?

Некому.

Таких рядом с ней почти не осталось, а тех, что сберегли свои головы, и в расчет брать не стоит.

... А на трон, чтобы не усугублять нарастающее раздражение знатных семейств императорской фамилии, пора посадить второго сына умершего Гаоцзуна – малолетку Ли Даня, и тогда все должно придти в норму.

Почему ей самой не приходит в голову? Что за бездействие с ее стороны?

Не решаясь первым начать предстоящую скучную беседу, Сянь Мынь сосредоточенно выжидал.

Легкий треск разрываемого шелка, достигая сознания, обдавал его знобким холодом. Зная себя и способность улавливать дикие капризы властной госпожи по незначительным ее действиям, и не всегда умея угадать то, чем они падут на его голову, в последнее время Сянь Мынь всегда напрягался, оказываясь в царственных полутемных, словно бы навсегда остывших для него покоях. Он вошел к правительнице, как и прежде, с особой легкостью и свободой, может быть, умышленно переставляя затяжелевшие в последнее время ноги чуть-чуть мельче и суетливее. Он ими словно бы шаркал. И вошел, полный желаний в первую очередь говорить, наставлять, поучать, вызывать на пространные схоластические беседы, которые У-хоу никогда не любила, но которые он считал обязательными для тренировки ее ума. Это был его давний прием: побудить Великую Несравненную к размышлениям, как о бренном, так и о вечном, и только после этого приступить к разговору, с чем важным заявился.

Наверное, в душе любого человека однажды могут зазвучать тоскливые, расслабленные струны. И как ни натягивай, как ни пытайся их поднапрячь, перенастроить, взбодрить, они все равно, к досаде, грустят и фальшивят, что монах слышал в себе, и что в последнее время с ним стало случаться достаточно часто не только в покоях императрицы. И если не привыкший, посторонний слух ему все же удавалось как-то обмануть, выдать нечто бодренькое, напускное, то никак не получалось провести самого себя, и грусть Сянь Мыня в такие моменты обычно пересиливала пределы устоявшейся и расчетливой осторожности в общении с повелительницей. Неуловимый разлад между ним и У-хоу зародился в утро ссылки наследника в южную провинцию – в то утро она впервые не захотела с ним говорить. Когда он вошел к ней, закончив важные ночные дела во дворце, начало которым, заручившись ее согласием, он положил, правительница была объята не свойственным страхом. Она сидела вот так же, угнездившись в изголовье просторного ложа словно бесчувственный удав, который находился в таинственном смятении, притягательным и опасным.

Досаднее было, что Сянь Мынь никак не мог понять ни причины, ни сути опасности, исходящей от императрицы, ни того, почему он вдруг стал неуютен, чем досаждают.

Усиливая опасность, рождались новые мысли: «Зная многое друг о друге, иногда практически всё, люди в подобном сближении, как тел, так и душ, почему-то часто глупеют и самообольщаются. И тогда... тогда приходит расплата».

Сянь Мынь не знал, откуда они появляются и для чего. Не прибавляя осторожности, они странным образом усиливали грусть и печаль, словно бы разом отрезая не худшую часть прошлого, обдавали неприятными ощущениями, что в отношениях с повелительницей наступают серьезные перемены и более важные по сравнению с прежними.

Он жаждал услышать ее голос, любое восклицание. Пусть даже гневный вскрик. Лишь бы она показала, что видит его, и не молчала.

Он долго ждал. Наконец, У-хоу взглянула на него и в досаде произнесла:

– Сянь Мынь, я ни о чем не хочу говорить, я слышу гнев Неба, и боги нас накажут.

Боги милостивы, он получил долгожданную возможность ответить со всей пылкостью, которую только что проявлял, преклонив колени перед всемогущим каменным божеством в затхлой келье.

Переполненный самовеличием, он произнес:

– Моя госпожа и повелительница, боги наказывают слабых, к сильным они благоволят! Возьми себя в руки! Обопрись на мое преданное плечо! Важные государственные дела требуют твоих властных повелений. Чиновники походят на сонных мух.

И уже не мог остановиться, не упоминая лишь ее младшего сына Ли Даня, которому, как он уже рассчитал, необходимо будет дать имя императора Жуйцзуна.

Он все давно прикинул и рассчитал, зачем терять то, что им достигнуто?

Сянь Мынь, всматриваясь вглубь алькова, говорил убежденно и горячо, как только что ночь говорил Учителю-Пророку, и продолжал вместе с тем думать о власти духовного, выпадающей из рук монашеской власти, которая успешно подчинила себе благодаря его влиянию на повелительницу едва ли не каждого жителя Китая и вырвалась в бескрайнюю Степь. Построив с благословения императрицы сотни монастырей, других святынь – как пагоды, кумирни, дагобы, субурганы, чартоны и тахты, о чем его учителя не мечтали еще два десятка лет назад, он вынашивает новый грандиозный замысел – воздвигнуть и самую великую в мире фигуру Учителя-Гуру, предвестника последующих пророков и патриархов. Вырубить на века в каменной стене... В которой будет еще одно грандиозное святилище на века – Пантеон Гаоцзуну. Пока – Гаоцзуну. Там, кто его знает, кто окажется рядом?..

Подходящую стену, он давно приказал подыскать. Лучше в близлежащих горах не найти.

Общий план – для начала в два-три десятка саженей в глубину.

Основное – верхняя часть портала и самая впечатляющая воображение из существующих статуй в монолите скалы-навершия Гуру-Патриарх Будда Шакьямуни. Духовный учитель и легендарный основатель одной из трёх мировых религий, получивший при рождении имя Сиддхаарта Гаутама. Или потомок Готамы, успешный в достижении целей... Мир должен осознать, наконец, знать, что Будда представляет собой не бога – «посредника между людьми и высшими силами» или спасителя, как в других религиях, а только Учителя, обладающего способностью вывести разумные существа из сансары – круговорота между рождением и смертью в мирах, ограниченных кармой. В мировой космологии говорится о неисчислимом количестве подобных существ, но Гаутама-Будда является наиболее известным представителем в череде будд-пророков, продолжающейся с далекого прошлого. Его первым известным предшественником был будда Дипанкара, список из 24 будд перечислен в «Хронике будд» из «Нидана-катхи», – неканонического сборника историй о жизни Будды Шакьямуни. И так будет, он исполнит. Под порталом – грот-усыпальница, длиною в две тысячи шагов, которую он прикажет начать пробивать в скале уже завтра.

Да, непременно завтра же!

С этого и начать – с усыпальницы, где будет и ее последнее прибежище – Великой У-хоу – единственной женщины-императора за многовековую историю Поднебесной.

Под вечной защитой каменного исполина-Будды.

Во имя бессмертия славы Солнцеподобной императрицы У-хоу, не своей; должна же она это хотя бы понять!

Во имя бессмертия Дочери вечного Учителя и самого Гуру-Патриарха их веры, – и он ей это должен внушить.

Ей – в первую очередь, все другие не в счет.

Подчинив большую часть ее подданных канонам и постулатам учения Гуру-Патриарха Будды, основательно потеснившим слишком рассудочное, не принимаемое чернью конфуцианство, только он и его вера способны открыть ей все тайны божественной сущности бытия, недоступные низменным толпам. Разве он и его монахи за последние годы в повседневных трудах и заботах не упорядочили жизнь самого государства на свой лад и к лучшему? Еще как! И только с помощью буддийского философского откровения о справедливом и несправедливом устройстве государственного управления, которым она в последнее время пренебрегает, неосмотрительно раздавая высокие должности таким, как Ван Вэй и ему подобные. Лишь разумным чиновничьим властвованием на основе Учений Великого Будды, способным в корне изменить духовность брэнного мира и религиозность государств вообще и Поднебесной в частности!

Он старался со всей изощренностью своего незаурядного ума увлечь полусонную и равнодушную императрицу высокими, как ему казалось, устремлениями в будущее. Вся пылкость его души была направлена только той бесчувственной и равнодушной, что была вершиной его творения, той, кто, обессмертив себя с его новой продуманной помощью, увековечит, как он считал, и его великое верование в Гуру-Патриарха.

Не Бога познают в первую очередь, себя в своей суете и природу сосуществования, построенной на Просветлении – вот что нужно внушить ей, не жалея любого красноречия.

Но во всем, что уже состоялось и сложилось вокруг за годы его служения Китайской державе, было еще много смутного, противоречивого, не всеми безоговорочно принимаемого. Продолжали существовать и враждовать различные религиозные школы-монастыри и отдельные властвующие над душами проповедники: на севере Китая – одни, на юге – другие, в горах Шао-линя – третьи. Сянь Мынь себя никогда не причислял к великим проповедникам, сила его влияния на паству заключалась в том, чтобы решать задачи самоутверждения и господства его веры в мире действительном и ощущаемом, обладающем реальными богатствами, а не отвлеченно воображаемом проповедниками-схоластами. Он для общины был не Гуру, не Учителем, он был, скорей, казначеем и осознал. А в том, что было привнесено юным наследником и ничтожными его советниками, особенно первым из них – отцом принцессы Инь-шу, бывшим князем Палаты чинов, находя поддержку в столице и во дворце, с каждым днем укрепляясь, стремительно приобретая сторонников, – с этим вообще необходимо покончить самым жестким и решительным образом. И он знает, с чего начинать и как покончить. Конечно, с помощью Великой и под ее властью, немедленно возведя на царственный трон ее второго несмышленища-сына. Он ощущал в этом не столько живую необходимость непосредственно для государства скорее управиться с ними – и с князем и с принцессой, – сколько страшную опасность, угрозу для себя и своего места при дворе со стороны тех новых вельмож, благодаря случаю окруживших трон молодого императора. Со стороны таких, как монах Бинь Бяо, бывший брат по вере. Громогласно ратуя за мир со Степью и тюрком-тутуном, Бинь Бяо становился опаснее остальных, вместе взятых. Говорят, Бинь Бяо высказал идею присвоить тутуну высшее звание князя-шаньюя и отдать в жены китайскую принцессу. И ни слова о том, чтобы склонить его к буддийской вере. Хотя бы в виде предположения, обговорив соответствующим предварительным соглашением, через тот же подарок – принцессу. Почему бы и нет! Подобные государственные дела совершаются сплошь и рядом, главное, как за них взяться, и ради чего. Нет, ни слова! Куда дальше?

И эти ничемные люди брались усилить мощь Поднебесной?

Что у них, кроме фонтана речей?

Монаху трудно было говорить об одном, а думать о другом. Внутренние размышления ему сильно мешали, и он говорил совсем не о них, живущих в нем остро на первом плане, сознавая, что во многом они пока более чем вредны. Другим, не ему. Ибо ум, ранее в человеке вызревший и навсегда укрепившийся, однако способный и противодействовать самому

себе, остается непредсказуем и в настроениях и способах решения новых задач. Не стоит его тревожить раньше времени, как следует не подготовив. А повелительница к подобной глубокой беседе сейчас не готова, и он вынужден говорить о возвышенном, но не существенном в том своем плане, ради которого пришел. Он ждал, если уж не интереса хотя бы в ее взгляде к тому, что изливает, то хотя бы возмущенного возражения.

Любого.

И тогда бы он сообразил, как и о чем продолжить беседу, чтобы возбудить в ней новое возражение.

А потом бы – еще! И еще!

Кто-то – враз не припомнить, кто это был на пути его странствий – однажды внушил, что простой, заурядный человек не осознает Жизненной Силы Поток Огня и Воды, только поэтому подвержен рождению, старению, смерти. Рассеивающая Сила Движения не является лишь простым вдыханием и выдыханием воздуха. Она является Жизненностью, которая поддерживает неодолимую самовоспроизводящую энергию. Живет человек или умирает – целиком зависит от наличия или отсутствия в нем этого непрерывного Движения. Смерть называется истощением этого необходимого для Жизненности, и мертвое тело на какое-то время сохраняется таким же, как было при жизни, отличаясь от прежнего состояния лишь тем, что больше не может дышать. Нельзя допускать, чтобы сердце осталось пустым. Есть Печь, Котел и Меха. И нельзя впускать в себя злобность.

Он все это знал, во все уверовал, но утишить гнев на того же Бинь Бяо, азартного старика историографа, князя Палаты чинов и генералов из прежних времен, смягчиться сердцем и духом к их вредным, возмутительным деяниям не мог. С трудом дождавшись желанной возможности выложить часть своих мыслей, страстно и одержимо начав их изливать на У-хоу, призывать к смелым свершениям во благо Китая, он рисовал картины ее будущего величия, когда она объявит себя полновластным и единственным повелителем Поднебесной. И скоро с грустью понял, что не в силах пробиться к сознанию императрицы, ставшему недоступным. Возбужденность и страстность проповедника в нем быстро истаявали, но сдаваться настолько печальным для него обстоятельствам Сянь Мынь не собирался. Готовый уже признать нынешнее посещение повелительницы неудачным и покинуть покои, он упрямо чего-то выжидал, вновь и вновь напрягая работой измученный мозг.

Рассуждая о неблагодарном собрате, Сянь Мынь не мог не думать без прихлынувшей неприязни и о наследнике, и его первом советнике-князе. Они, в его понимании, дорвавшись до власти, и проявили, в первую очередь, оскорбительную для его чувств наглость и безнаказанность. Обретая большую власть, такие выскочки чаще всего погрязают в безрассудстве, как случилось с молодым повелителем и его первым князем-советником. Их самонадеянное упрямство не позволяет им слышать время в его протяженности, в которой всегда больше полезных уроков здравому правителю, чем в сбивающихся с толку нашептываниях и сомнительных назиданиях. Но сопоставлять, сравнивать и выбирать, не опасаясь крупных ошибок, будущих, может быть, проклятий в свой адрес и ненависти к себе, всегда трудно.

Слабому трудно, сильный умеет и выбрать, и вовремя остановиться.

Для этого необходим не только жесткий, рассудочный ум, просветляющее предвидение, но и отвага, твердая воля, не лишенная здравых препятствий-сомнений. Нужны твердость характера, властность руки и линия решительного поведения.

Народ не становится единым сам по себе. Народ и державу едиными делает ведущий и властвующий.

От такой, какой выглядит в эти последние дни У-хоу, затаившись голодным удавом, ни государству, ни его народу пользы не будет, а смута, брожения только усилятся.

Сянь Мынь, как всякий не лишенный собственного слепого тщеславия, достигший значительных личных умственных высот, мог только уповать на Учителя-Будду, призывая его на помощь, и он в беспомощности воскликнул:

– Великая, за нами следит внимательный глаз Небесного Патриарха! Что скажешь ему?

* * *

Императрица упрямо хранила молчание, и монаху становилось труднее излить себя безответно и пытаться услышать, словно подсказку, желанный глас не менее безучастного сейчас к нему Неба. Ему начинало казаться, что он вовсе не в покоях повелительницы, а стоит на коленях перед привычным каменным идолом, как стоял недавно, готовясь проникнуть в эти покои, и как бы спрашивал у безмолвного божества благословения на все, что задумал.

Скажет хоть что-нибудь эта женщина? Почему она будто немая, как те же боги, – ни злобы, ни гнева даже в глазах.

Наконец он снова поймал ее взгляд.

Императрица оставалась подавленной.

Ее мятущееся сознание нуждалось в поддержке, искало помощи.

Она выглядела совершенно отчаявшейся.

И не затаившимся сытым удавом она была, как монаху показалось вначале. Она была скована страхом.

Маленькие губы ее мелко дрожали. Перебирая длинную полосу шелка, тряслись ее руки. На лице совсем не было краски, на нем проступили морщины, которые она раньше скрывала, повелевая прислужницам каждое утро и особенно вечером, перед приходом красавца Жинь-гуня, тщательно замазывать белилами и румянами.

Как же она состарились с тех давних пор, когда блистала неповторимым алмазом среди оборотней наложниц неукротимого императора-сатрапа! Никто и не знает ее той поры, кроме него да няни-старухи.

Тяжесть их отношений в последние дни усугубились несколькими десятками казней – как показательных, на мосту через Вэй, так и тайных, в подземельях дворца, смещением одних и назначением других вельмож и чиновников, что совершалось повелительницей словно бы нарочно в пику ему. Особенно сильно Властвующая переменилась после расправы с генералом-фаворитом Жинь-гунем, совершенной ею в невероятно жестоком и непонятном для монаха неуправляемом состоянии.

Да он и не знал об этом ее решении до самого исполнения не обычным палачом, а черным евнухом Абусом, облаченным в багрово-черные одежды палача. О казни генерала Жинь-гуня ему сообщили под утро, когда он общался с Великим Гуру и был на грани транс. «Сянь Мынь, – сказали два монаха, не побоявшиеся нарушить его уединение, – с восходом солнца топор приговора падет на шею Жинь-гуня. Генерал уже в подземелье». Больше они ничего не знали. Евнух, приближенный вдруг императрицей, в покои уже не пустил. И что он мог сделать?

То, что казнь генерала как-то должна была коснуться и его, сомнений не вызывало. Но что это было – сама генеральская смерть? Какая-то сильная в У-хоу досада, просто ночная причуда, самоуслаждение всевластием, угроза? Что насторожило их друг в друге больше, чем прежде, и что же случилось потом, поскольку с той поры Великая говорить с ним ни разу не захотела?

Обманом, перехитрив самого Абуса и только лишь на рассвете прорвавшись в покои повелительницы, монах весь был – покорность судьбе и само сверхтерпение. Он следил за государыней в робком сочиве зарождающегося дня и боялся ее, не зная, чем его посещение

может закончиться. Что же все-таки с ней? Что с ним самим? Почему перестало получаться самое простое притворство, которое раньше нисколько не обременяло, возникая само по себе, как приятно волнующая игра, и почему, как ему кажется, что, сожалея о казни Жинь-гуня, она в этой смерти обвиняет его?

Перестав понимать мотивы поведения императрицы, монах перестал понимать и происходящее, раздражаясь собой значительно больше, чем поступками императрицы, еще более непредсказуемой теперь женщины, способной одарить его как новым всевластием, так и смертью.

Приучившись к циничному рассуждению о неизбежности жизненного пути любого, кто сопровождает правительницу Поднебесной на ее жизненном пути, кровавом и коварном, к чему он также приложил и прикладывает мертвецки холодную длань прагматического расчета, Сянь Мынь давно не думал о собственной кончине. Он вроде бы презирал ее на фоне, что получает за многогранные труды у трона и постоянный отчаянный риск, но после случившегося с генералом Жинь-гунем...

Нет, жалости к туповатому красавцу и не состоявшемуся полководцу-воеводе монах не испытывал – поделом. Побаловался, поупивался незаслуженной славой, понаслаждался доступностью тела самой богини, пора честь знать. Поделом всем, по чину и шапка.

Но не ему. С кем она останется? Или она настолько ко всему бездыханно равнодушна...

Посмотрим, знавали мы всякое кажущееся равнодушие. Сегодня у нее на уме одно, завтра...

Посмотри, наступит и завтра. Достаточно искры, чтобы выжечь жаркий огонь, яростный пламень из любого бесстрастия.

А кто займет место рыжеголового генерала, – кому думать, как не ему, и он об этом уже в самых серьезных раздумьях. Не самому на старости лет, как в прежние годы...

Молодой нужен. Сильный. Дерзкий. Чтобы она задыхалась в его могучих объятиях, которые и есть ее главное вождение.

Слабые ей ни к чему.

Бегло скользнув по его лицу, столкнувшись на миг с его напряженным взглядом, У-хоу опять опустила глаза, словно от еще более сильного испуга спрятавшись в дальнем углу широкого ложа под шелк и меха, поджав под себя ноги.

Словно нырнув, провалившись в кучу изорванного на узкие полоски шелка, она продолжала рвать его нервно и безостановочно.

– Осмелюсь напомнить моей божественной повелительнице, что первыми наши тревоги замечают враги. А наши тревоги рождают наши ошибки. Стоит ли жить, совершая, что ты совершаешь? Тебе нечем больше заняться? – произнес он сухо и строго, понимая, что слова его падают, кажется, в безответную пропасть.

Чтобы продолжить и знать, как и о чем говорить дальше, необходимо было дожидаться ответа, и монах его все-таки услышал.

Оставаясь далекой, У-хоу сердито сказала:

– Для тебя все – истина. Вдоль что-то лежит или поперек, прямо или криво. Сегодня у меня нет нужды в пространной беседе с тобой, уходи.

– Я твой духовный наставник решением самого Патриарха-Гуру.

– Уходи или я позову Абуса.

Взгляд ее ледяной был неприятен, императрица, по-видимому, искала что-то у него на лице. И, должно быть, ничего не нашла, с особым вызовом, похожим на предупреждение, рванув за концы кусок скользкого, текучего, как вода, шелка.

Продолжительный треск, похожий на хруст снега, снова наполнил покои угрожающим холодом, заставив сердце монаха мгновенно замереть, а потом с новой, удвоенной энергией заколотиться.

ХОЛОД АЛЬКОВА И МЕРТВЫЕ РЫЖИЕ ВОЛОСЫ

Нет, на этот раз она ничего ему не сказала, всего лишь поспешно скользнув по нему взглядом. И то, что застыло в ее глазах, Сянь Мыню снова было неясным. Слушая ставший омерзительным треск шелка, догадываясь, что может последовать, он сохранял спокойствие и видимость послушания.

В то же время он должен был казаться и покорным, выглядеть кротким, что было не просто даже такому искусственному приспешнику трона, как он. Потому что и слишком кротких, готовых к немедленным услугам ее своенравная и капризная натура не очень-то жаловала.

Он хорошо ее знал, давно изучил в закоренелых привычках. Правящие династии прошедших времен управляли Китаем сотни лет каждая, многое меняя в жизни огромной державы. И когда приходили другие, наступали беспримерные потрясения, проливались реки невинной крови, в которых нередко текли струи, пролитые такими, как он. И кто как не он знает больше других о тайных и своевольных пристрастиях императрицы, в любой миг способных обрушиться умертвляющим царственным гневом на любого, намозолившего глаза. Нужно вовремя лишь угадать близость подобного гнева, и подсказать – на кого.

Нет, монах не был трусливым, вкусив соблазна от пирога тронной власти, вскружившего голову, не мог не желать большего. В этом они были более чем схожи. Он, монах, и она, повелевающая властно самим императором, одним этим и жили последние годы, подмяв под себя безвольного Гаоцзуна.

Власть им пришлась по нраву, хотя едва ли она кому-то бывает не всласть и не в упоение хотя бы на миг; завладевая властью, от нее не отказываются, умело насилуя, приспособливая и снова насилуя – в массе своей человек самое подлое существо из всего созданного Сеятелем и природой, упрямо отравляющееся этой подлостью.

Ей – для ее женского тщеславия, самодурств и жестокостей, на что он легко закрывал глаза и чем умело, расчетливо пользовался ради собственных устремлений; ему – для повсеместного укоренения божественной веры, возвеличивания Учителя-Будды и священного Просветления, которых без ее безмерного самоуправства императрицы ни с кем другим никогда было бы не достигнуть.

Долог был путь монаха к этой вершине, часто рискован и достаточно тяжок. Его представили к юной тринадцатилетней наложнице, едва появившейся в гареме грозного императора, при виде которого у слуг и рабов замирало дыхание, для занятий разными науками. О чисто монашеском служении в то время речи быть не могло. Тогда всё во дворце дышало в большей степени конфуцианством и шаманизмом, перетекающим иногда в манихейство; буддизм встречал пренебрежение, был в Поднебесной изгоем, а военные, чиновники, молодежь, подражая дикой культуре Степи, любили напяливать на себя нечто из меха, обретая звероподобный, угрожающий вид. Щеголяя степными нарядами и облачениями на важных дворцовых приемах, они вызывали поощрительный смех своевольного императора, в жилах которого также бродила частица вольной степной крови, и глухую ненависть приверженцев ушедших времен. Во дворце и в столице было полно инородцев, торговцев и караванщиков, послов других государей, все шумело, гундело, тараторило на разных языках, бросалось в глаза пестрыми, чуждыми древней китайской земле одеждами, рождая невольное подражание или высокомерное презрение.

Юная наложница ничем подобным не увлекалась, ее страстью было и всегда оставалось как можно более оголенное тело. С нею в гарем вошли полузабытые страстные танцы, пластика, изумляющее искусство женского обольщения плотью. И молодой монах, сражен-

ный непередаваемой свежестью ее красоты, изяществом гибкого сильного тела, вдруг, против своей воли, стал в ней это редкое природное умение поддерживать и развивать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.